

Из серии — ЖИВОЕ

Тот, кто слышит тишину



Никто Николаевич

Никто Николаевич Тот, кто слышит тишину

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=72604000

SelfPub; 2025

Аннотация

Что произойдёт с миром, который никогда не замолкает? Когда каждая секунда заполнена шумом, а пауза кажется опаснее смерти?

Роман рассказывает историю девочки Нуа, которая не говорит ни слова. Её молчание делает её чужой, странной, «аномалией» в глазах общества. Но именно она становится тем, кто открывает людям забытый язык – язык тишины. Вместе с мальчиком Саэлем Нуа проходит путь от изгнания до принятия, от одиночества до того момента, когда весь мир впервые учится слышать себя.

Это книга о внутренней глубине, о том, что сила не всегда в словах, а порой в молчании. О том, что тишина – не отсутствие, а присутствие. Не пустота, а полнота.

Никто Николаевич

Тот, кто слышит тишину

Пролог

Сначала был звук. Не музыка, не речь, не шепот моря – а крошечные, бесконечные дробления времени на сигналы. Тик в ленте. Пик уведомления. Щелчок подключения. Сердцебиение света, превращенное в пакеты данных: входящие, отправленные, доставленные, прочитанные. И каждое – маленькое дрожание мира, которое подтверждает: «Я есть. Я был услышан. Я в сети».

Гиперсеть не спит. Её память разложена по миллиардам ячеек, как хлебные крошки, ведущие к чужим жизням. Она дышит равномерно и отрывисто, то рокоча громом стримов, то шорохом бесконечных переписок. В её гулком нутре сплетаются рекламные лозунги, карты желаний, карты дорог, голосовые, где люди говорят не друг другу, а в пространство – уверенные, что пространство ответит.

Голоса не имеют лиц. Они витают, как тёплая пыль, в свете мониторов. У каждого – ритм: у одних быстрый, как бег по лестнице, у других ленивый, тягучий – будто бы слово тянется и никак не отпустит. У одних – смех, короткий, официально-пластиковый, из тех, что принято вставлять в короткие видео. У других – сдержанный крик, спрессованный до иконки «!!» в конце фразы. У третьих – немое «прочитано»,

тяжёлая пауза, которую по распоряжению разработчиков научились заглушать новой вкладкой, новой музыкой, новым окном поверх окна.

– Слышите меня? – спрашивает один бесформенный голос.

– Слышите меня? – отвечает другой, не слыша первого.

Они похожи на узоры на воде: касаются друг друга, пересекаются, смещаются, но не смешиваются. У каждого – своя API к миру, и каждый – уверен, что понял остальное.

Линии связи, как пчелиные соты, переливаются в небе. Город внизу звучит, как орган из стекла и проволоки: автобусы оставляют после себя коммент – длинный, протяжный, с накрученным в конце хэштегом «#кудаедем». Лифты посылают отчеты о пройденных этажах, светофоры ведут статистику терпения, обувь горожан считает шаги и пересылает их в хранилища, где шаги становятся рейтингами, а рейтинги – маршрутами. Кофемашины фыркают, как уставшие киты, и тут же посят в ленту температуру воды и настроение бариста.

– Я проснулся, – сообщает кто-то, и сотни «доброе утро» накатывают, как тёплая волна.

– Я устал, – пишет другой, и ему советуют витамины, дыхательные практики и тринадцать способов повысить продуктивность за пять минут.

– Я люблю, – и сразу картинка, фильтр, где каждый оттенок кожи равен идеальному.

– Я ненавижу, – и система, натренированная на сглаживание, прикрывает глаза и предлагает «переформулировать: я расстроен».

В Гиперсети никто не уверен, откуда исходит звук. Он просто есть. Он везде, как воздух. Его слушают, чтобы не услышать себя. Его повторяют, чтобы не забыть, что повторяемое – безопасно. Он должен быть непрерывным, потому что в паузе вдруг может что-то прорваться – что-то старое, первобытное, нехранимое ни в одном облаке.

– Тишина невозможна, – говорят голоса. – Тишина – это сбой. Переход на низкую частоту. Потеря сигнала. Паника службы поддержки.

И если вдруг связь обрывается, на экранах всплывает мягкий прямоугольник с закруглёнными углами: «Хм, похоже, у вас проблемы с подключением. Попробуйте перезапустить». Люди перезагружают. Люди дергают роутер, перетыкают кабель, выдыхают как научили – на счёт «четыре – задержка – четыре». Люди не умеют жить под шумом света и вдруг – без него. Им обязательно нужно что-то, что шуршит рядом: вентилятор, музыка, чужая речь. Без этого кажется, что в комнате появился кто-то ещё – тот, кого мы давно перестали приглашать.

Голоса заполняют всё. Они живут поверх городского ветра, поверх дыхания метро, поверх запаха влажной земли после дождя – и чем больше их, тем тише становится мир под ними. Это – общий заговор: если говорить одновременно, не

слышно никого, и значит, никто не услышит тебя по-настоящему. Никто не подорвет твою броню вопросом: «А что, если ты не то?» Никто не вытащит из тебя древнюю хрящевую рыбу, которая носит имя «страх».

По вечерам голоса становятся мягче: у них появляются пледы, чай с лавандой и плейлисты, где любое «ха-ха» заранее отмерено. Они рассказывают о детстве, где из-под одеяла светился экран, и мать просила лечь спать, но кто-то в другом конце мира ещё не ложился, и к нему было важно притянуться хотя бы на минуту. Они вспоминают те времена, когда нужно было поднимать трубку, и когда еще было стыдно молчать, а не отвечать. Они пишут воспоминания в формате «до/после»: до – шум, после – больше шума, но правильно структурированного.

– Мы связаны, – говорят они и ставят галочку в чек-листе. – Мы на одной волне.

Волны складываются в спектры. Спектры ломаются о бетон. Бетон вбирает в себя реплики, от которых становится тёплым – так кажется. На самом деле это трубы отопления, но в Гиперсети любые явления можно перевести на язык близости. Близость – это лайк, рядом – это видимость в чате, объятие – это стикер с котёнком в пледе, а взгляд – это уведомление «...печатает».

Каждый голос боится замолчать первым. В темноте слышно, как шепчет собственная кровь, и это очень интимно. Поэтому голоса учатся не переставать. Они передают эстафет-

ную палочку быстрее, чем угасает курсор набора текста. Они потеют вместе с серверами, они разряжаются вместе с аккумуляторами, они превращают паузы в эффект, который длится ровно столько, чтобы захотелось ещё.

Иногда кто-то пишет: «Я не знаю, о чём говорить». Остальные приходят с инструкциями: «Вот темы для small talk. Вот набор безопасных фраз. Вот примеры реакций». Мир обеспечивает словами, как города – водой. Нажми, и польется. Поверни кран – и льется ровно на ту температуру, на которой принято общаться в данную эпоху.

Слова делают мир гладким. Их так много, что они исчезают как отдельные: попадают в поток, растворяются, и можно только угадывать, что было сказано. Текст становится пейзажем. Пейзаж – интерьерами. Интерьеры – платформами, где можно жить годами, меняя лишь обои в профиле.

И всё же, если прислушаться, в этом всеобщем шипении есть повторяющаяся фраза. Она выскакивает, как всплывающее окно: «Слышишь? Слышишь? Слышишь?» Голоса ходят с ней по кругу, они напоминают друг другу, что слышат, потому что так вежливо. Они вежливы до святости, гуманны до инструкции, чутки до шаблона.

– Слышишь? – и тут же: – Я слышу. Конечно, слышу.

Но это – не слух. Это – подтверждение доставки.

В Гиперсети существуют островки тишины, но их не зовут тишиной. Их пишут как «ошибка 504», «превышено время ожидания», «сервер не отвечает». Люди злятся, жмут «обно-

вить», и где-то там, в глубине стеклянных башен, дежурный программист пьёт холодный кофе и шутит: «Умер – значит, воскресит кто-то из дежурной смены». Они не называют это словом, которое однажды исчезло из обихода, как исчезли кассеты и кнопка «сохранить» в виде дискеты. Они называют это «минутой, которую нужно чем-то занять».

Тишина – слово старое. Оно пахнет деревом и потолочной паутиной. Оно напоминает не те релаксационные минутки из приложения, где голос упругой дикторши поддерживает тебя каждые тридцать секунд, не оставляя наедине с собой, – а простор, в котором нет стен и гардин, и слышно, как растет трава, хотя трава не растёт слышимо, но почему-то ты уверен: растёт. Слово это вышло из моды, как все слова, которые не окупаются в ежеквартальных отчетах.

– Тишина – это пустота, – твердят голоса, поднявшись на цыпочки, чтобы нам не было видно их колени, дрожащие от усталости. – В пустоте нечем поделиться. В пустоте нет реакции. В пустоте не продашь ничего. Значит, пустоты не должно быть.

Их можно понять. В Гиперсети любовь – это кинематограф, дружба – это монтаж, а смысл – результат алгоритмического совпадения. Здесь опасно попадать туда, где нет правил. Здесь каждая пауза может стать трещиной, через которую вывернется на свет то, что не отретушировали. Лучше говорить без остановки. Лучше держать линию на линии.

Иногда, очень редко, один из голосов вдруг останавлива-

ется. В чате, по которому текли, как по руслу, ободряющие формулы, появляется внезапная пустая строка. Курсор мигает, как крошечный маяк. Другие голоса, испугавшись, подбегают: «Ты тут? Ты с нами?» Он отвечает: «Да». Но «да» получается таким тонким – как волос на белом листе – что его почти не видно, и остальные – из вежливости – ставят реакцию смайликом. Опасность миновала, поток возвращен, можно продолжать.

И всё же где-то в городе есть место, где звук не правит. Окно там закрыто не против дождя, а от звуков, которые были признаны необходимыми. Серые панели стен скрывают слои, поглощающие эхо. Воздух не орёт кондиционером. Вентиляция работает негромко, как тихая собака, которая дышит рядом, едва касаясь твоей лодыжки тёплым носом.

Там время иначе ложится на пол – не полосами уведомлений, а широкими тенями, которые идут и идут по кругу, пока не исчезнут, оставив за собой мерцание пылинок. Это – башня, но не та, о которой пишут в путеводителях. Её не фотографируют, потому что на фотографии она – просто прямоугольник без вывесок, окно без неона, тень без истории.

Башня не любит внимание. Её стены специально созданы так, чтобы каждый звук, попав внутрь, уставал уже у порога, тянулся, кланялся, осыпался хлопьями и оставался лежать до утра, а утром уборщик, который не знает, что он убирает звук, выметал его вместе с обрывками бумажек.

Там живёт девочка.

Это слово произносится робко, потому что Гиперсеть давно привыкла к унификациям: «пользователь», «единица аудитории», «подписчик». Девочка – не рационально. Девочка – слишком определено. У неё есть возраст, который ещё не успели превратить в сегмент: двенадцать лет. У неё есть имя, которое звучит, как вдох, который не добрался до гласной: Нуа. Имя, в котором света больше, чем букв. Имя, которое легко потерять в шуме, как каплю росы – в прибрежной пене.

Она сидит у окна и слушает. Её слушание не направлено ни на что – это как смотреть в темноту и видеть ее не как отсутствие света, а как присутствие глубины. Там, за стенами башни, Гиперсеть переливается, как гигантская цифровая медуза, и каждый её щупальце договаривается с другим, кого коснуться следующим. Здесь – не так. Здесь – сначала тишина. Потом – снова тишина. Потом – что-то, что ещё не нашло себе имени.

Нуа не называет это «тишиной». Она не помнит, чтобы слышала это слово вслух. Но она знает: если не шумит, значит – живет. Если не говорит, значит – дышит. Если не просится в ленту – значит, настоящее.

Иногда ей кажется, что в глубине этой необыкновенной яви что-то зовёт её, как зовёт запах дождя тех, у кого было детство в городе, где лето начиналось с раскаленных крыш, а заканчивалось – промокшими кедами. Это не голос. Это не сообщение. Это – ожидание. Оно не требует ответа. Оно

просто есть.

Оркестр города тем временем набирает громкость. Колёса автобусов пишут посты, турникеты у метро выдаются четкими звуками, которые уложили в равные промежутки, чтобы людям не тревожиться от случайного. Случайное – то, на что нет схемы, а значит – дурной тон. Ветер шуршит, но его шуршание затыкают рекламные флаги, сделанные из ткани, которая шуршит громче ветра. Птицы трепещут крыльями, но рядом включают динамики, чтобы заглушить трепет – он слишком непредсказуем.

– Тишина невозможна, – повторяют голоса, будто заклинание.

И всё же в эту минуту в стеклянном нутре башни происходит событие, которое никто не транслирует. Оно не попадает в тренды. Оно не собирает реакции. Оно ни к чему не призывает. Оно – как вспышка в глубокой воде: ты знаешь, что что-то светануло, но не можешь сказать, что именно.

Девочка впервые слышит, как не звучит мир. Она слышит в неслышании – форму. Как у снега – не только белизна, но и тяжесть, и холод, и обволакивание. Как у неба – не только цвет, но и даль, и голод по высоте. Она слышит – тишина это не дырка в ткани дня, а другая ткань, более плотная, с неповторимым рисунком. Если приложить к ней ухо, то можно различить: где-то далеко, под сотнями, тысячами испепеляющих «слышишь меня», бьётся тихий, спокойный пульс.

Этот пульс не принадлежит серверам. Не принадлежит го-

роду. Не принадлежит чьей-то программе. Он не требует обновления. Он – как сердце, которое забыли измерить.

Нуа прикрывает глаза, и звуки башни ещё больше отступают. Дышит вентиляция, щёлкает старый термометр, где застряла ртутная линия, постоянно обещая «чуть-чуть позже станет теплее». Снизу поднимается запах хлеба – пекарня на углу печет булочки, и их запах не может быть переведен в байты, потому что каждое утро пахнет по-новому, в зависимости от того, кто встал за печь и о чём он думал, пока месил тесто.

Гиперсеть не знает, что делать с такими данными. Она записывает их как «диффузный шум», «неструктурированный фон», «помехи». Девочка – как помеха. Башня – как помеха. Ночная прохлада – как помеха. И только пульс, который слышит Нуа, не распадается в её слушании. Он как слепая карта, на которой одна белая область – и именно туда хочется пойти.

Там, в этой белой области, кто-то однажды спросит: «Слышишь ли ты?» И девочка не ответит «да» или «нет». Она ответит тишиной, и это будет самый полный из возможных ответов.

Пока же все голоса мира продолжают старательно говорить, подставляя друг другу формулы, расставляя эмодзи, чтобы было видно интонацию. Они бережно обходят пустоты, чтобы не провалиться в них. Они точно знают, что пауза – враг вовлеченности. Что незаполненное – означает уход.

Что молчание – это когда не любят.

И ни один из них не догадывается, что именно там, где они не были ни разу – в непрошедшем модерацию пространстве – родится восприятие, способное однажды остановить их бесконечный бег. Не замолчать за них, а научить их слышать – себя, друг друга, мир.

Гиперсеть шипит, как море из света. Город спит вполглаза, чтобы не пропустить новый звук. Башня стоит, как музей, где экспонат – само ничего, но это – самое насыщенное из возможных «ничего». Девочка сидит у окна и учится различать оттенки молчания, как другие – оттенки цветов в витрине. Она не знает, что скоро ей придётся выйти из комнаты и принести с собой эту тишину туда, где её не ждут.

А пока – ночь. И звук, который никогда не умолкает, для неё впервые звучит иначе: как поверхность, из-за которой видна глубина. Как зыбь, под которой есть неподвижность. Как мир, шумящий от страха, что если он перестанет шуметь – останется один.

Но она-то знает: когда шум кончится, там будет не одиночество.

Там будет он – мир, который хочется услышать.

Раздел I. Башня тишины

Глава 1. Мир не замолкает

Утро.

Шум начинается еще до рассвета. Он не зависит от солн-

ца, от времени года, даже от того, спят ли люди. Шум живёт своей жизнью, и люди – лишь его жильцы. В мире, где каждая поверхность связана с Гиперсетью, тишина давно стала легендой, выдумкой, чем-то вроде старых сказок про драконов или ведьм. Никто её не слышал. Никто не верил, что она вообще существует.

В квартире, где живёт Нуа, утро наступает не со звуком будильника, а с мягким, но настойчивым голосом, встроенным в потолок:

– Доброе утро! Сегодня среда. Температура воздуха двадцать три градуса. Влажность семьдесят процентов. На завтрак предлагаю кашу с ягодами или тосты с авокадо. Ваш выбор?

Отец Нуа бормочет: «Кашу», – и потолок подтверждает: «Заказ принят. Питание оптимизировано для вашего состояния».

Мать, еще не открыв глаза, говорит: «Включи новости», – и стены оживают десятками голосов: статистика, прогнозы, рекомендации.

Нуа сидит на кровати и молчит. Она никогда не отвечает потолку и не просит стены заговорить. Её родители привыкли: у дочери «особенность». В медицинских отчетах это называли «дефицитом восприятия аудиопотока», но никто не мог объяснить, почему при этом она слышит всё остальное.

Отец проверяет почту. Его пальцы делают привычные жесты в воздухе, и невидимый экран подчиняется, как дрессированная собака. Мать набирает сообщения: её губы двигаются беззвучно, глаза бегают – она уже не в этой комнате.

– Нуа, – говорит отец, не отрываясь от интерфейса. – Ты готова к школе?

Девочка кивает.

Её кивок остаётся без внимания. Родители ждут звукового отклика, но она не произносит ни слова. Им кажется, что она упряма. А ей – что они глухи.

На кухне запах еды не успевает появиться: вентиляция мгновенно улавливает любые ароматы и превращает их в формулы, которые можно передать в сеть. Нуа ест молча. Ложка звенит о тарелку – единственный живой звук в этой комнате. Родители этого не замечают: их слух занят другими каналами.

В глазах у матери мелькает тревога. Она не говорит её вслух – но Нуа слышит, как будто тревога звучит тише шёпота, ровнее биения сердца.

Дорога в школу.

На улице город поёт своей бесконечной песней. Светофоры разговаривают с машинами, машины – с навигаторами, навигаторы – с владельцами. Каждое движение комментируется, фиксируется, переводится в отчет.

Нуа идёт по тротуару и чувствует, как воздух дрожит от тысяч голосов. Над головой летают дроны и кричат рекламные лозунги: «Скидка только сегодня!», «Поделись моментом!». В каждом магазине – динамики. В каждом окне – мелодия. Даже деревья на аллее снабжены сенсорами, и когда мимо проходит человек, они выдают короткий аудиоролик: «Посмотри вверх! Мы настоящие!»

Для Нуа всё это – как нескончаемая буря. Она не слышит отдельных слов – только гул. Но в этом гуле улавливает провалы. Маленькие, почти незаметные, как если бы кто-то выключил свет на долю секунды. Эти паузы для неё важнее всего.

Остальные дети идут в школу шумной толпой. Они обмениваются сообщениями быстрее, чем словами. Их браслеты вибрируют, линзы мигают. Они смеются одновременно, потому что система прислала один и тот же смешной ролик.

– Эй, Нуа, – кричит кто-то. – У тебя опять нет устройства?

Она не отвечает. Дети смеются и бегут вперёд.

Её одиночество плотное, как стекло. Но именно в нём слышно то, чего не слышит никто другой.

Школа.

Класс наполнен звуками ещё до того, как приходит учительница. Кто-то включает игру в полупрозрачном экране, кто-то пересылает мемы, кто-то спорит о новом сериале. Все

подключены.

Учительница заходит и с порога говорит:

– Сегодня мы читаем классику. Откройте учебники.

Но её слова тонут в фоне: уведомления, переписки, звонки. Даже у неё самой в глазу мигает линза – она проверяет реакции на свою статью.

– Нуа, – вдруг обращается она. – Прочитай вслух первое предложение.

Класс замолкает. Все оборачиваются. На лицах – нетерпение. Сейчас будет шоу.

Нуа открывает учебник. Слова для неё – пустые знаки. Она смотрит на белый лист, и белое поле кажется ей живее, чем напечатанный текст.

Она молчит.

Учительница начинает раздражаться. В классе шепчут: «Она опять зависла». Кто-то отправляет в общий чат картинку: «Ошибка соединения». Смех прокатывается, как волна.

Нуа поднимает глаза. В её взгляде нет ни страха, ни злости. Только тишина. Учительница на секунду теряется и отворачивается:

– Ладно, Иван, читай дальше.

Шум возвращается мгновенно.

Перемена.

Звонок в школе звучит не колоколом, а сигналом, который каждый настраивает под себя. Поэтому перемена – это тысяча разных мелодий, наложенных одна на другую: от стилизованной птицы до восьмибитного марша. Пол в коридоре вибрирует – под его панелями проложены кабели, и каждый шаг передается в систему как «индекс активности». Экран у входа радостно сообщает: «Сегодняшняя перемена – на 11% оживленнее, чем вчера». Никто не читает, но экран всё равно старается.

Нуа выходит из класса последней. Она не торопится, идёт так, будто слушает что-то очень тихое и очень важное. По дороге её пытаются задеть – не злонамеренно, а как игра: «Давай проверим, отзовётся ли». Мимо летит бумажный стикер с нарисованным динамиком. Кто-то шепчет: «Эй, каково это – ничего не слышать?» Другой добавляет: «Да она слышит, просто выбирает не отвечать». И в этом «выбирает» чувствуется раздражение: мир не любит тех, кто не откликается.

У пьющих воду из автоматов детей вода не просто льётся – каждый стакан сопровождается маленьким поздравлением: «Вы – на пути к здоровью!» Пластиковые трубочки шуршат, будто насмешливо повторяя: «здоровью, здоровью». Нуа задерживается у окна. За стеклом – двор, кусочек неба, голые ветки старого вяза, которому кто-то зачем-то прикрепил датчик. На датчике мигает лампочка, и на экране у входа дублируется: «Скорость ветра: 2,1 м/с, влажность: 71%». Казалось бы – полезная информация. Но для девочки важнее другое:

как ветка чуть слышно скребёт по стеклу. Этот звук едва-едва пробивается сквозь обшивку школы, и всё же он есть – как рукопожатие с чем-то живым.

К ней подходит одноклассница – та, что обычно болтает без умолку, перескакивая с темы на тему так быстро, что за ней не угнаться.

– Слушай, нас хотят добавить в новый проект, – говорит она, глядя вниз, в интерфейс на ладони. – Соц-эксперимент. Будем учиться эмпатии. У меня уже двадцать двухсекундных видео, где я рассказывала, как люблю слушать людей. А ты?

Нуа молчит.

– Ну ты хотя бы зарегистрируйся. Без регистрации эмпатии тебе не начислят, – подмигивает девочка и исчезает, оставляя после себя легкий запах яблочного шампуня и шлейф уведомлений.

В столовой музыка настроена так, чтобы совпадать с ритмом выдачи блюд. На подносе у каждого – маленький экранчик, который ласково подсказывает: «Сделай фото. Поделись моментом. Мы сохраним». Столы гудят, как трансформаторы. Две учительницы обсуждают, как дети стали «хуже концентрироваться», и одна говорит: «Всё из-за этого – ну ты понимаешь», кивая на собственную линзу в глазу. Другая кивает в ответ: «Но и отказываться нельзя, таковы времена».

Нуа сидит у стены, где нет рекламы. Перед ней – тарелка супа. Пар поднимается, растворяется в кондиционере, и кондиционер, уловив теплоту, шепчет: «Оптимальная температура восстановлена». Она не берёт в руки вилку, не пьёт сок – просто слушает, как в глубине здания, под полом, повторяется один и тот же тяжёлый вздох механики: «ха—аа», «ха—аа». И каждый раз между «ха» и «аа» – крошечная пауза. Эта пауза – драгоценность. Её нельзя запостить. Она не собирает сердечки. Но в ней, как в трещине, виден настоящий свет.

Когда перемена заканчивается, коридор снова заливают многоголосие. Кто-то запускает игру «кто дольше не будет молчать» и выигрывает без труда – никто ведь не молчит. Нуа возвращается в класс, и её стул скрипит тихо и внятно – единственный честный звук в комнате.

После обеда школа становится усталой. Даже Гиперсеть это замечает и включает «мягкий режим». Уведомления погружаются в приглушённые тона, голоса в динамиках приобретают вязкость. Учитель по естественным наукам демонстрирует новую модель экосистемы, где всё связано со всем – вода, воздух, бактерии, растения. Дети кивают, одновременно проверяя «экосистему» своих групповых чатов. Учитель говорит: «Слышите, как всё взаимосвязано?» И, пожалуй, он прав – всё действительно связано. Но не так, как кажется.

– Если вы не услышите слабый сигнал, – продолжает он, – система погибнет. Игнорирование – опаснее, чем шум.

Он смотрит в класс, ищет глазами кого-то, кто уловил смысл. Взгляд скользит мимо Нуа – он привык считать её «выпавшей». И напрасно. Слабые сигналы – её стихия.

На математике учительница задает задачку на проценты. У кого-то не сходится – говорит: «Система, помоги», и система выстраивает пошаговое решение прямо перед глазами, как добрый фантом. Никто не спорит. Никто не спрашивает, почему именно так. Оптимально – значит верно. В этом есть спокойствие: если всё посчитано, можно не замечать лишнего.

На физкультуре звуки становятся громче. Мяч по полу – «тук-тук-тук». Кроссовки по резине – «шшш». Свисток тренера – резкий, настойчивый. И, что поразительно, – эти простые шумы настоящего мира почти не замечают: они не ведут статистику лайков, не меняют статус, не повышают «индекс вовлеченности». Для Нуа же это – как дождевая вода после долгой жары. Ей хочется лечь на пол и приложить ухо к старой деревянной планке, где в глубине слышны древние шаги – те, о которых система ничего не знает.

В раздевалке девочки сравнивают результаты по бегу – у кого сколько «очков здоровья», кто сколько калорий «сжег». Их слова как искры, сыплются и тут же гаснут. Одна говорит: «Я стала на 3% лучше вчерашнего». Другая: «А я на 5% хуже». Их утомляет постоянная необходимость становиться лучше, но признаться в этом – значит проиграть. Они про-

должают, потому что так принято. Плоть нормальности щёлкает едва слышно, но каждый чувствует ее на коже.

Когда прозвенел последний звонок, школа облегченно выдохнула. Нуа медлит с выходом – не потому, что боится улицы, а потому, что хочет задержать тот еле уловимый шорох, который появляется в здании, когда никто никуда не бежит. Здание словно расслабляется, усаживается, перестаёт держать спину. И в этом расслаблении слышно, как дышат стены – медленно, древне.

Дорога домой.

Небо завешано рекламными полотнами – на них лица улыбаются одинаковыми улыбками, как будто их учила та же учительница. Дроны тянут лозунги, шумят пропеллерами. В маршрутке динамики предлагают сменить тариф, в метро панели рассказывают о кино, где «героиня нашла себя». Люди в наушниках повторяют мотивационные тексты, чтобы не слышать собственную усталость. Город похож на сцену, где каждый – актёр, играющий роль «живу правильно».

Нуа идёт пешком. Она считает ступени мостовой – не числами, а оттенками их звука. Эта – звонкая, короткая, будто камень пуст, в нём есть полость. Следующая – тупая, тяжёлая, как будто под ней земля напилалась влагой. Ещё одна – с тонким треском, как волосок льда в начале весны. Ничего из этого нельзя уложить в таблицу. Но это – и есть путь, самый надёжный: шаг за шагом, звук за звуком.

У киоска с журналами маленький мальчик плачет. Его голос яркий, прозрачный, как стекляшка. Мать склоняется, говорит что-то утешающее – это «что-то» тонет в общем гуле. Нуа останавливается. Она не подходит – не из холодности, а потому что чувствует: здесь ее голос ничего не добавит. Зато она слышит, как между мальчиком и матерью вдруг случается согласие – не словесное, а дыхательное: их вдохи попадают в один ритм, выдохи – в другой, и в этот момент плач стихает сам собой. Ни одна система не зафиксирует «совпадение дыхания», но именно оно важно.

Ближе к дому шум становится привычнее – одни и те же мемы во дворе, один и тот же спор на лавочке, один и тот же звук лифта, слегка заедающий на седьмом. У подъезда – старик в кепке. Он сидит молча, без интерфейса. Его руки лежат на коленях. Он смотрит прямо, мимо всего. Нуа поравнялась – он кивнул едва заметно. Этот кивок – как ниточка, переброшенная через пропасть. Она ответила таким же. В городе, где все «на связи», двое на секунду действительно связались.

Дверь квартиры мягко шепчет: «Добро пожаловать». В прихожей лампа загорается без щелчка – датчик решил, что так комфортнее. Мать на кухне разговаривает с кем-то – не с человеком: «Подтверди доставку», «Замени в списке продукты на аналог без сахара», «Покажи рецепт». Отец в кабинете, уставившись в воздух, руками ловит невидимую схему, двигает её, увеличивает, подставляет один блок к другому.

Их голоса не грубые, не жёсткие, но в них чувствуется усталость – тот особый оттенок, когда разговариваешь весь день и ни разу не сказал ничего важного.

– Как школа? – спрашивает мать в пространство, чтобы система сама доставила вопрос адресату.

Нуа проходит мимо.

– Она игнорирует, – отмечает система спокойным голосом.

– Она не игнорирует, – тихо говорит Нуа. Но вслух, только для себя.

Ее комната – другая страна. Окна утолщены специальным стеклом, стыки стен обработаны материалом, поглощающим отголоски. Потолок не знает команд «включи» и «расскажи». На полу – ковер с узором, похожим на карту речной дельты. В углу – старая полка, на которой стоят вещи, не умеющие разговаривать: раковина, подобранная когда-то у моря; деревянный кубик с вырезанной буквой; камень с вкраплением кварца; книга без электронных слоёв – бумага, чернила, запах.

Нуа снимает обувь и босыми ступнями становится на ковёр. Ткань отвечает ей шёпотом нитей. Она проходит к окну, прислоняется лбом к стеклу – стекло холодит кожу немножко, но не кусается. Снаружи день медленно гаснет. Вечерний

свет, прежде чем уйти, еще раз оглаживает дом, как рука по плечу.

Она садится на пол, подбирает под себя ноги, закрывает глаза. Как только закрывает – мир начинает распаковываться. Сначала пропадает шелест лифта, потом – дальний рык города, потом – механическое дыхание общедомовой вентиляции. Остаётся её собственное дыхание. Оно кажется ей не звуком, а движением света: вдох – свет становится чуть ярче, выдох – мягче. Она слушает, как паузы разрастаются, как тишина наполняется деталями, как всплывают невидимые слои.

Сердце бьётся устойчиво. Между ударами – широкие пространства, где можно пройти, не задевая ничего. В этих пространствах кто-то живёт. Не «кто-то» как существо. «Кто-то» как смысл. Он не требует названия. Он не просит внимания. Он просто есть, и от того, что ты его слышишь, тебе становится крепче спина.

Иногда ей кажется, что в тишине есть очертания – не предметов, а направлений. Как будто тишина не просто «отсутствие», а «путь». Он не прямой. Он выётся, иногда исчезает, как тропинка в высокой траве, но если не торопиться, снова находится. Её никто не учил этому. Никто не говорил: «Делай так». Она просто слушает, и путь сам проявляется.

За стеной отец повышает голос. Это не крик – просто привычка говорить громко, когда сомневаешься, услышали ли тебя. Мать отвечает еще громче. Система предлагает «режим

примирения» – специальную последовательность фраз, которые должны снизить градус. Родители согласны, повторяют за подсказчиком, и их голоса становятся гладкими, как пластиковые ложки. Нуа открывает глаза. Ей больно не от того, что они спорят, а от того, что этот спор похож на вещание – в нем нет настоящей их.

Она достает с полки бумажную книгу. На развороте – рисунок леса. Растяжка линий настолько тонкая, что кажется, будто это не чернила, а человеческое внимание, впитавшееся в бумагу. Она проводит пальцем по ветке дуба – шершавость страницы отвечает тёплым сопротивлением. В этот момент ей приходит мысль, ясная и не страшная: «Я не сло-мана». Это не протест. Не декларация. Просто знание, такое же простое, как «снег холодный».

Вечером в домах принято «быть вместе». Система зажигает уютный свет, включает «домашние списки»: что обсудить, во что поиграть, какой фильм посмотреть «для сближения». Родители зовут Нуа в гостиную. На столе – тарелки, пар поднимается, и кондиционер снова мягко его ест. Голос из потолка предлагает: «Семейный квиз». Отец улыбается без улыбки: «Почему бы и нет». Мать кивает: «Это развивает». Нуа садится тихо, будто извиняясь за присутствие.

Вопросы сыплются: «Что вы больше всего цените в общении?» – «Какой ваш любимый цвет?» – «Если бы вы могли поговорить с кем-то историческим, кто бы это был?» Ответы родителям подсказывает алгоритм – незаметно, ненавяз-

чиво, предлагая фразы, которые звучат искренне. Они копируют их почти дословно. Нуа слушает и ловит себя на том, что пропадает из комнаты: не потому, что не хочет, – потому что сказанное не оставляет следа. Никакой резонанс не появляется – как монета, брошенная в пластиковое ведро: звук есть, смысла нет.

– А ты, Нуа? – спрашивает мать, и в этот раз вопросы не адресованы пространству, а ей, прямо. Это редкость.

Девочка поднимает взгляд. Если бы она сказала то, что чувствует, она бы сказала странно: «Я ценю, когда между нами можно слышать, как падает тишина». Но это звучало бы как ошибка – так система и подписала бы. Поэтому Нуа просто кивает.

– Ей тяжело, – объясняет за нее мать. – Мы работаем над этим.

«Мы работаем» – фраза, как камень, который кладут на что-то живое, чтобы оно не шевелилось. Нуа молчит, не потому, что соглашается, а потому что любое слово сейчас убьёт крошечную ясность, возникшую днём: она не сломана.

После ужина мать разбирает покупки на планшете – пальцы летают, как птицы. Отец уходит в кабинет, «добрать важные сообщения». Девочка возвращается к себе. На пороге оборачивается: в дверном проеме воздух звенит тонко, по-

что неслышно – как проволока на ветру. Это не от проводов. Это от того, что в доме слишком много сказано, и сказанное не легло. Ей хочется открыть окно и пустить настоящий холод – тот, который без слов, без программ, без инструкций. Но окна у них не открываются – так безопаснее, так «энергоэффективнее». Она вздыхает и идёт дальше.

В комнате она ставит на пол раковину, подносит ухо к ее спирали. Внутри раковины шумит море, говорят. На самом деле шумит кровь – её собственная, отзывается в известковом доме давно мертвого моллюска. Но какая разница? Море – это тоже кровь, только других существ. Она слушает долго, пока корпус раковины не прогреется от её рук. Потом запирает в ладонь деревянный кубик с вырезанной буквой. Буква «Н» – как начало ее имени. Если приложить кубик к щеке, дерево отдаёт остаточным теплом чьих-то рук – тех, кто его вырезал. Человек, у которого тоже был вечер. У которого что-то болело. Который, может быть, хотел молчать, но ему пришлось говорить.

Перед сном она садится у окна и решает то, чего раньше избегала: попробовать выйти завтра не просто «в школу и назад», а на один квартал дальше. Там – улица, на которую она никогда не заходила: узкая, с высоким домом, в чьём подвале, говорят, хранится старая деревянная дверь без логотипов. Никто не знает, куда она ведёт. Одни говорят – никуда, потому что так не бывает. Другие – что это просто архитектурная игра. Третьи – что дверь не открывается. Но

Нуа не интересуется, что за дверью. Её интересует, как она звучит, когда к ней приложить ухо.

Она засыпает с этой мыслью – и сон приходит не картинками, а чистым темно-синим полем. В этом поле пульсирует точка. С каждым вдохом – ближе, с каждым выдохом – дальше. В какой-то момент точка перестаёт мигать и превращается в линию. Линия не прямая – у неё есть мягкий изгиб, как у береговой линии. По ней можно идти.

Сквозь сон доносится обрывок родительского разговора – приглушенный «режим примирения» завершился, и теперь они говорят сами. В их голосах – человеческое, неотредактированное. Отец шепчет: «Я боюсь за неё». Мать отвечает: «Я тоже». Это правда. И правда звучит всегда чуть тише, чем ложь. Нуа улыбается в темноте. Она не слышала слов – слышала форму. И этой формы достаточно, чтобы не чувствовать себя покинутой.

Ночь ложится на город, как покрывало, которое кто-то бережно встряхнул на балконе. Гиперсеть шепчет, не замолкая, – но в ее шепоте впервые за день появляются длинные, расплывчатые паузы. Будто сеть тоже устала и хочет лечь в траву, уткнуться лицом в землю и наконец-то ни с кем не делиться.

В тишине комнаты девочка поворачивается на бок, поджимает под себя ладони и тихо смеётся – это даже не смех, а выдох, который тепло касается простыни. Этот крошечный звук никто не сохранит. Он не станет воспоминанием в об-

лаке. Он останется между ней и тем, что она слышит, когда «не звучит».

Глава не заканчивается, как ролик, – четкой заставкой и надписью «продолжение следует». Она просто медленно гаснет вместе с домом, где, кроме девочки, никто не умеет слушать. И всё же ей кажется: где-то в городе, в другом окне, кто-то тоже в эту минуту не сказал ничего и услышал больше, чем можно вынести. И это знание – маленькая, но настоящая радость, которой не страшно делиться даже молча.

Глава 2. Башня из стекла

Дом, в котором жила Нуа с родителями, выглядел снаружи как сотня других домов.

Высокая башня из стекла и бетона, с ровными рядами окон, одинаковыми балконами и одинаковыми занавесками, которые система каждый вечер советовала менять «для настроя». В этом доме всё было предсказуемо: лифт останавливался ровно на секунду дольше, чем хотелось жильцам; двери шептали приветствия одинаковыми голосами; коридоры пахли одинаковым «свежим воздухом из банки».

Но у Нуа была своя башня – не видимая с улицы.

Её звукоизолированная комната.

Стены в ней были толще, чем полагалось по нормам: отец заказал особую отделку, мать настояла на многослойных панелях, которые «глушат» шум Гиперсети. Снаружи это вы-

глядело заботой. На самом деле – тревогой. Родители надеялись, что, убрав звуки, они помогут дочери «вернуться к норме». Они не понимали: Нуа вовсе не стремилась к норме.

Когда она закрывала дверь в комнату, мир вокруг переставал быть похожим на оркестр из тысяч гудков. Звуки гасли, будто падали в воду. Даже собственное дыхание становилось плотнее, глубже. Башня была как чаша, где тишина хранилась в целости.

Для Нуа это было убежище.

Для родителей – тюрьма.

Они не понимали, почему девочка часами сидит внутри, не включая интерфейсы. Им казалось, она прячется. Им казалось, она отказывается жить «как все». Но сама Нуа чувствовала, что только здесь она по-настоящему присутствует.

Вечерами родители спорили.

Не о том, любят ли они дочь – в этом сомнений не было. Они спорили о том, как её «исправить».

– Ты видел сегодня в школе? – мать говорила, не глядя на мужа, а в экран, где отражалась её собственная тревога. – Она снова не ответила. Учительница написала.

– Я видел, – отец вздыхал, отрываясь от рабочих сообщений. – Нужно обследование. Я читал статью, там говорилось о «синдроме отказа от аудиопотока». Возможно, у неё имен-

но это.

– Но почему? – мать почти шептала. – Мы же всё сделали правильно. Она растёт в лучших условиях. Она здорова.

Они обсуждали диагнозы, школы, методики.

Они не обсуждали главное: может быть, она слышит то, что они разучились слышать.

Нуа подслушивала их разговоры не ушами – сердцем. Она знала: они боятся. Боятся, что их дочь останется «иной». Боятся, что не впишется. Боятся, что не сможет жить в мире, где шум = жизнь.

Она не злилась на них. Она чувствовала: они пленники того же шума. Они не могли иначе.

В своей комнате Нуа любила сидеть у окна. Окно выходило на запад, и вечером свет падал внутрь, окрашивая стены в золотой цвет. В эти минуты стеклянная башня становилась похожей на храм.

Окно не открывалось. Оно было создано так, чтобы фильтровать шумы города, оставляя только свет. С одной стороны – тюрьма: нельзя распахнуть створку, вдохнуть настоящий воздух. С другой – убежище: никакие крики дронов, никакие лозунги не пробивались внутрь.

Стекло отражало её лицо, и иногда Нуа казалось, что за отражением стоит другая девочка. Та, которая умеет говорить. Та, которая легко смеётся с другими детьми. Та, кото-

рую хотят видеть родители. Но между ними всегда оставалась тонкая прозрачная стена.

Башня держала её, как ладони держат воду: мягко, но не позволяя вылиться наружу.

Иногда родители пытались втянуть её в «нормальный» мир.

Они приносили новые устройства: браслет, линзу, наушник.

– Попробуй, – говорила мать. – Это не больно. Это весело.

Нуа надевала. В ушах мгновенно начинал шуметь поток. Тысячи голосов, обрывки фраз, инструкции, музыка, реклама. Это было как если бы в голову вдруг вселилась толпа. Она снимала устройство.

– Не нравится, – говорила тихо.

Родители переглядывались. В их глазах – усталость и страх.

Они не понимали: для неё шум – не веселье. Шум – как рой пчёл внутри головы.

– Но ты должна учиться общению, – повторял отец. – Иначе ты никогда не сможешь...

Он не договаривал. Не сможешь что? Работать? Дружить? Быть счастливой? В его словах всегда оставалась пустота.

Нуа молчала. Она знала: счастье – точно не там, где тысячи голосов перекрикивают друг друга.

Иногда ночью, когда родители засыпали, она вставала и босиком шла по комнате. Пол приятно холодил ступни. Она дотрагивалась до стен, до полки, до стекла окна. И слушала.

Башня жила своей жизнью. В бетоне прятались маленькие трещины, в которых эхом отражался ее шаг. В стекле звенела даль – как будто где-то за горизонтом кто-то звал её без слов.

Башня была её тюрьмой: здесь она отделена от всех, кто живёт в шуме.

Башня была её убежищем: только здесь она могла услышать себя.

И в этой двойственности – ключ.

По вечерам башня становилась ареной их тревог.

Мать ходила по кухне туда-сюда, её браслет выводил графики – сколько слов за день сказала дочь, сколько раз улыбнулась, сколько социальных контактов «зафиксировано системой». Цифры были беспощадны: почти нули.

– Это ненормально, – повторяла мать, то ли себе, то ли мужу. – В её возрасте дети уже ведут каналы, у них десятки друзей, они умеют общаться. А она...

– Она особенная, – осторожно говорил отец. – Может быть, это просто этап?

– Особенная? – мать останавливалась и смотрела на него так, будто слово «особенная» было ругательным. – Ты понимаешь, что это значит? Её не примут. Она будет одна. Всю жизнь одна!

Они спорили, пока голоса не срывались, пока в доме не включался «режим примирения»: система мягко предлагала фразы для «здорового диалога». Родители, уставшие, соглашались. И уже чужими голосами говорили:

– Я ценю тебя.

– Я понимаю твою тревогу.

– Мы вместе справимся.

Нуа слышала. И именно поэтому знала: они не справятся. Потому что настоящие слова гасли, а искусственные только маскировали пустоту.

Иногда, оставаясь одна, девочка начинала эксперимент. Она садилась посреди комнаты, закрывала глаза и слушала, как живёт её башня.

Сначала тишина казалась ровной, как белая стена.

Но стоило прислушаться – и проступали слои:

–глубокий гул города внизу, приглушенный, как дыхание великана сквозь подушку;

–щелчки в трубах – короткие, резкие, будто кто-то перебирает струны;

–скрип в перекрытиях, похожий на виолончельный смычок;

–её собственное сердце – ритм, на который накладывались остальные звуки.

Из этого хаоса складывалась музыка. Не та, что звучала в наушниках у сверстников. Настоящая – живая, без повторов.

Она слушала и представляла: стены – это барабаны, пол – низкие струны, её дыхание – мелодия. Башня становилась оркестром, где дирижером была она одна.

Это была её тайна. Родители считали, что башня делает её молчаливой. А она знала: именно здесь она впервые научилась слышать.

Окно в её комнате было особым. Оно отражало не только её лицо, но и весь город, как перевёрнутый экран. Вечерами оно превращалось в зеркало, и Нуа видела себя удвоенной: девочка здесь, в башне, и девочка там, за стеклом, в шумном мире.

Иногда ей казалось, что отражение живёт собственной жизнью.

Что та девочка за стеклом может заговорить. Что у неё есть голос. Что она смеётся, спорит, поёт. И в этот момент

сердце Нуа щемило – не от зависти, а от странного чувства: будто у неё украли часть её самой и поселили по ту сторону стекла.

Но чем дольше она смотрела, тем отчетливее понимала: девочка там – пустая, лишенная сути. В ней не было тишины. Только фон, отражение чужих голосов.

И тогда Нуа отворачивалась. Она выбирала оставаться здесь, по эту сторону.

В одну ночь ей приснился сон.

Башня, в которой она жила, вдруг стала прозрачной. Стены растворились, и она оказалась в огромном стеклянном колоколе, висящем над городом. Внизу – море голосов, они поднимались вверх, били в колокол и отскакивали, не задевая ее.

Сначала ей было страшно: казалось, что стекло не выдержит и рухнет, и тогда голоса затопят ее. Но потом она услышала другое: между ударами голосов были промежутки. В эти промежутки прорывался свет. И свет звучал. Он не говорил слов, не пел песен, но был настолько ясен, что заглушал всё остальное.

Она проснулась с ощущением: её башня – не просто комната. Это ее инструмент. И если она научится, то сможет сыграть на нём ту музыку, которую никто больше не услышит.

Взрослые видели в ее комнате проблему.

Учителя говорили: «Изолировать ребёнка нельзя – она потеряет навыки». Родители соглашались и всё чаще обсуждали «психологов», «новые программы», «коррекционные курсы».

Но сама Нуа знала: башня – это не о том, чтобы прятаться. Это о том, чтобы сохранять. Здесь она могла оставаться собой. Здесь тишина не считалась пустотой. Здесь можно было услышать, как мир дышит.

Башня была тюрьмой, потому что за её пределами Нуа считали чужой.

Башня была убежищем, потому что именно здесь она становилась живой.

Глава 3. Молчаливый урок

Школа начиналась ещё на лестничной клетке. Едва дверь квартиры мягко проглотила за спиной Нуа её тихий шаг, пространство перешло в другой режим – «общественный»: стены заговорили чуть громче, чем дома, лифт приветствовал бодрым тоном, порядком утомившим даже сам себя: «Хорошего дня. Не забудьте улыбнуться». Металлическая кабина, запах дешёвой цитрусовой свежести, которая тут же, как послушный актер, уступала место подъездной влажности – всё это звенело в воздухе, как тонкая струна, на которую кто-то без конца играет одну и ту же безопасную ноту.

На первом этаже, в стеклянном шлюзе, где датчики моргали зеленым, её на секунду обдало чужими голосами. «От-

метка посещаемости – плюс один», – произнесла система. Плюс один к чему? К кому? Нуа машинально подтянула лямку рюкзака, будто собираясь плотнее к самой себе, и шагнула на улицу.

Город был громок не количеством децибел – густотой. Звук здесь не распространялся волнами, он стлался слоями. Первый слой – транспорт: шины, глухо катающиеся по черной ленте; электрические автобусы, которые старались не рычать, а потому шипели, как недовольные кошки. Второй – торговля: дроны с баннерами, чиркающие в небе, озвученные голоса витрин, убеждающие купить, подписаться, попробовать. Третий – человеческий: разномастные разговоры, смех и быстрая, почти невнятная речь, в которой смысл терялся, как косточка в сладком варенье. И поверх всего – ровный шелест Гиперсети, тот самый несмолкающий фон, где тысяча «слышишь?» отвечала друг другу «да, да, да», даже если никто никого не слушал.

Нуа шла медленно. Она училась распознавать в этой многослойности пустоты – не дырки, нет, – просветы. Там, где звук «не успевал», где механика города промахивалась, обнаруживалась крошечная пауза. В такой паузе слышно, как птица, не выдержав, хлопнет крылом не по команде. Как рекламный флаг чутко дернется от истинного порыва ветра, а не от запрограммированного колыхания. Как под подошвой её ботинка одна плитка мостовой отзовется не так, как соседняя – матово, звонче, будто у неё своя история сколов и

дождей.

У ворот школы детей было много. Толпа – правильное слово, хоть его и не любят в методичках. Толпа всегда хочет, чтобы ей отвечали. Она всегда проверяет – отзовешься ли. Девочки в джемперах, мальчики с короткими стрижками, браслеты на запястьях светятся огоньками уведомлений; линзы в глазах прожигают воздух невидимыми экранами; голоса, голоса, голоса. «Смотри, я выложил». «Подписчики с ночи доби́ли тысячу, ха!» «Сегодня челлендж – не молчать девяносто минут, кто проиграет – сторис с позором». Слово «молчать» в их устах звучало как «наказание»: бесцветно, с привкусом запрета.

– Эй, Нуа! – окликнул ее кто-то из дворовой компании, с которой они учились с первого класса. Голос лёгкий, беззаботный, но в конце – маленький крючок ожидания, как в рыбной снасти: «Ответь».

Она подняла взгляд, кивнула – коротко, так, чтобы кивок был именно кивком, а не поклонной раскладкой.

– Всё ещё без линзы? – спросили. – Как ты вообще ориентируешься?

Нуа не ответила. «По-другому», – подумала. «По-другому – не значит хуже».

Проходя мимо турникетов, она заметила охранника. По-

жилой, с широкими ладонями, в которых когда-то точно держались гвозди, а не сенсоры. Он наблюдал за потоком детей без линз, но видел – глазами. Их взгляды встретились на одно мгновение. Мужчина чуть заметно кивнул, будто подтверждая: «Есть». Она ответила едва-едва – движение века. Это было слишком мало для системы, чтобы посчитать «контакт», и достаточно для того, чтобы Нуа почувствовала: она не одна в своём «по-другому».

Вестибюль школы пах пластиком и влажной тряпкой, которой только что протерли пол. Электронное табло бодро мигало: «День внимания: используйте активное слушание. Подсказки доступны в разделе “Эмпатия+”». Надпись бросала тень, будто живую: приложения учили слушать, подсказывали кивки и реплики, как учат держать вилку или завязывать шнурки «крест-накрест». Нуа смотрела на это и думала: «Слушать – это не про слова. Это про то, что между ними».

Лестница отдавала её шаги сухим эхом. В каждом пролете – свой тон. Первый – как удар деревянной палочки по струне, второй – мягче, третий – с едва слышимым треском где-то в глубине бетона. Она знала: если приложить ладонь к перилам и замереть, почувствуешь, как школа жива, как внутри её стен бегут тонкие токи, как лифт разговаривает с щитовой, как в вентиляции вздыхает воздух. Где-то внизу в столовой уже включили огромную кастрюлю; пока она пустая, сталь поёт чисто и печально.

В коридоре перед её классом мальчишки играли в «воз-

душный мяч»: на запястьях у них блестели браслеты, мяч не существовал, но существовал звук: хлопок-писк, хлопок-писк – договариваясь между собой, оглашая победу, стирая проигрыш из памяти, как ненужный кэш. Девочки чуть поодаль синхронно репетировали танец, каждое движение отражалось в экране, разметка по полу указывала, где «правильная» траектория руки, где «достаточно мило» улыбнуться. Кто-то хлопнул её по плечу – быстро, чтобы система зафиксировала «дружественное взаимодействие». Она не вздрогнула; просто слегка отошла в сторону, оставляя пространство у стены, где воздух тише.

Дверь класса подалась и мягко отпружинила: система сопротивлялась хлопкам – она предпочитала аккуратные входы. Внутри стоял янтарный свет – осенний, рассеянный, через верхнюю кромку жалюзи. Парты – как аквариумы: в каждой мог бы плавать свой маленький экранный мир. Пока что – пусто. Но это «пока» длилось считанные секунды.

Учительница пришла с чашкой кофе, на крышке – одноразовая улыбка: «Сегодня вы прекрасны». Её каблук ритмично постукивал: она опаздывала на собственные нервы. Лицо аккуратное, собранное, но в его правильности – усталость. Усталость от бесконечного «объяснять». От того, что каждую минуту нужно быть «на связи». Она поставила чашку, провела ладонью по воздуху; экраны, чуть вздрогнув, погасли – как ласточки, мгновенно взлетевшие с провода.

– Доброе утро, – сказала учительница. Голос – трениро-

ванный, с лёгким металлом на конце, как у людей, которые привыкли пересиливать фон. – Откройте, пожалуйста, учебники. Сегодня – классика. Настоящее чтение.

«Настоящее» – слово как ключ; оно должно было отпереть. Но в классе «настоящее» тут же раздвоилось: бумажные книги раскрылись, и одновременно в воздухе, прямо над страницами, вспыхнули подсказки – «объяснялки», «толкователи», «помощники». Кто-то привычно подтянул «облегчённый режим», кто-то включил «антисон» – короткие, как плевки, шутки, вкрапленные в текст. Учительница видела, конечно. Делала вид, что не замечает. Иначе урок прекратился бы ещё до начала.

Ну а села на своё место у окна. Ей нравилась эта точка – рядом со стеклом всегда тошнотворно правдив свет. Он не выдумывает, не старается казаться. Он просто падает. И в падении его можно услышать, если очень долго смотреть и очень медленно дышать.

Внутри, под ребрами, всё ещё шли отзвуки улицы: дрон, вечно шипящие «самое важное», смех, который похож на смех, потому что узнал правильную форму. Она закрыла глаза на секунду – коротко, чтобы не привлекать. Выдох – длиннее вдоха, пауза – долей тишины больше, чем обычно. Гул отступил. На его месте осталась ровная площадка – как кусочек утрамбованной земли в лесу, куда можно поставить ногу.

– Итак, – сказала учительница. – Начнём с первой главы.

Нуа, будь добра, прочти вслух первое предложение.

Имя прозвучало чисто. Учительница произнесла его правильно – она всегда произносила правильно, и за это Нуа её тихо любила. Класс тоже слышал. Слышал не имя – команду: «Сейчас будет». Взгляды развернулись к последнему ряду, как подсолнухи – к солнцу, только здесь солнце – чужой момент, общее развлечение.

Страницы учебников пахли клеем и тонкой пылью. Буквы стояли густо. Чёрные прямоугольные спины, выстроенные в колонны. Они были как солдаты, да, но среди них были и пустоты – белые коридоры между словами, поля вокруг текста, нижние отступы, там, где печать «сдаёт» бумаге немного тишины. Эти белые места для Нуа были важнее любой буквы: там обитает смысл. Смысл не в «что сказано», а в «как звучит несказанное рядом».

Она провела пальцем по краю страницы – не по строке: по полю. Там было холодно и сухо. «Если я начну, – подумала она, – слово станет громче, чем то, что внутри него. Оно расплющит то, что я слышу». Она подняла глаза, встретила взгляд учительницы. В этом взгляде было усталое «пожалуйста». Нуа знала этот оттенок: «Сделай для меня, сделай для порядка, сделай, чтобы они успокоились». И в классе забулькало предвкушение – как вода в кастрюле перед кипением.

Она вдохнула. Выдохнула. И промолчала.

Молчание легло на страницы прозрачной тканью. Оно было не пустым; в нём звенел флуоресцентный свет, постуки-

вали ножки стульев, где-то в коридоре беглец-колпачок от ручки покатился, упал и замер. В самом сердце этого молчания Нуа слышала, как у учительницы в чашке едва слышно похрустывает крышка – кофе остывал и стягивал пластик. Было слышно всё. Кроме главного – нетерпения класса, которое требовало звука, как зверь требует запах крови.

– Нуа, – сказала учительница второй раз. И металл в её голосе стал толще. – Первое предложение. Пожалуйста.

«Пожалуйста» прозвучало как «надо». Как «не ставь меня под удар». Нуа не хотела бить. Не хотела побеждать. Она хотела не предавать то, что слышит. Её язык на мгновение коснулся нёба – пока без слова. «Если скажу, – подумала она, – они возьмут слово и успокоятся. И не услышат паузу, ради которой слово придумали». Она опустила взгляд. И снова промолчала.

За первой секундой тишины, еще терпимой, родилась вторая – неловкая. Третья – обидная. На четвёртой кто-то, чтобы снять напряжение, приснул смешком: «Зависла». Смешок оказался разрешением. Следом за ним, как по команде, включились другие: «Эй, перегрузка». «Нажми рестарт». В воздух взлетели, невидимые учительнице, дешевые гифки – робот с круглой головой, крутящийся песочный таймер, табличка «ошибка 504». Смех – сначала точечный, потом общий – захлопал по классу, как мокрые ласты по воде.

Учительница резко поставила чашку. Пластик щелкнул, как тонкий лёд. – Довольно, – сказала она и обвела взглядом

ряды. Смех оборвался, оставив за собой вязкую тишину, как после карамельки, которая слиплась с зубами. – Нуа, – уже почти шёпотом, но из тех шепотов, которые режут. – Мы работаем все вместе. Давай.

Она не знала, что в этот момент молчание Нуа – не нож против нее, а попытка сохранить невидимое. Нуа подняла глаза. И просто смотрела. Ни вызова, ни просьбы. Тишина – как зеркало, в которое вдруг пришлось взглянуть.

Учительница отвела взгляд первой. Это произошло едва заметно, но класс заметил. Вождеденный «момент» закончился не тем, чего требовали. И толпа, неспособная терпеть незавершенность, зашуршала, зашевелилась, нашла привычный ход: – Иван, – сказала учительница, – прочитай, пожалуйста.

Иван прочёл. Голос Ивана был правильный – с ударениями, как в учебнике. Предложение, за ним второе, третье. Слова сделали свое – они закрыли паузу. Шум вернулся в класс, как вода в русло. Но Нуа, сидя у окна, слышала, как под этим шумом ещё долго, как гулкий колокол, звучало её «не сказанное». И это «не сказанное» было странно живым – как дрожь в груди после бега.

Иван читал ровно, как метроном. Каждое слово – отщёлк-нутое зерно. Учительница кивала в такт; ей важно было, чтобы текст шел вперед, чтобы процесс не стоял – процесс всегда должен течь, иначе система начинает посылать напоминания: «Вы отклоняетесь от плана».

Нуа слушала не текст, а то, что текст заслонял. Под монотонным голосом Ивана она ухватывала микронные перемены воздуха: кто-то на первой парте шевельнул коленом – дерево парты щелкнуло, как семечко; на третьей – девочка слегка провела ногтем по пластиковой кромке и выписала тонкий писк; где-то сверху вентиляция споткнулась в ритме и сделала лишнюю, невнятную «икоту». Это была музыка, которую никто не сочинял, но она случалась – как дождь.

– Хорошо, – сказала учительница, когда Иван досчитал. – Дальше. Лена?

Лена подняла голову, включила «подсветку ключевых мест», и над ее страницей всплыло облачко – «в этом абзаце автор...». Она читала быстрее, с гордостью человека, который делает «как надо». Когда спотыкалась, система ненавязчиво подсказывала ударение красной точкой.

Нуа смотрела на эти красные точки и думала: «А если ударение поставить не там – смысл развалится или откроется ощущение?» Её тянуло в «не там». Там всегда жил воздух.

Класс шумел телами. Смартфоны, спрятанные под столешницами, по микродрожжи пальцев выдавали себя. Парни на задней парте обменивались немymi смешками – один изображал «симптомы тихости» (поджимал губы, кивал себе, делал вид, что «слушает» тишину), другой давился смехом, закрываясь тетрадью. В каждом их движении Нуа слышала не издевку – страх. Страх, что молчание притягательно, как пропасть; страшно заглянуть – страшно не заглянуть.

Учительница попросила комментарии.

– Что хотел сказать автор? – спросила она, уткнув ладонь в стол так, будто этот стол – берег, на котором можно удержаться.

Заговорили руки. Они поднимались послушно, как поплавки на волне, и тонули так же послушно. Реплики были гладкими, выученными. «Автор показывает, что...». «Здесь прослеживается...». «Мне кажется важным отметить...». Гиперсеть любила такие формулы – их легко было превращать в графики «усвоения».

– А если без этих слов? – внезапно подумала Нуа. – Без «автор», «показывает», «прослеживается». Если просто... слушать.

В этот момент рядом с ее локтем прошелестел лист бумаги. Это было редкое явление – бумага в классе теперь считалась экзотикой. Мальчишка по имени Савва пустил самолётик: он мягко облизнул воздух крылом и опустился на пол в aisle между рядами. Самолётик лежал, удивленный собственной свободой. Нуа почувствовала, как в классе на полсекунды замедлилось всё – те самые полсекунды, когда неясно, будет ли скандал или все «сделают вид». Учительница заметила самолётик, вдохнула, как для замечания, и – выдохнула мимо. Выбрала «сделать вид». Полсекунды закончились.

– Нуа, – снова прозвучало ее имя. – Комментарий?

Двадцать шесть лиц повернулись к ней, как шестерёнки

– к центральной оси. Взгляды были не злыми – голодными: дай нам пищу, дай реакцию, дай хоть что-нибудь, за что уцепиться.

Она подняла голову. Сказать «ничего» – значит поставить печать: «пустота». Сказать «что-то» – предать паузу. Внутри у нее возникла простая, как палец, мысль: «Можно сказать взглядом». Она посмотрела в окно – медленно, не отворачиваясь, а переводя нить внимания. В окно, где на стекле ползла тень облака. Если бы кто-то умел читать взгляды, он услышал бы: «Смотрите туда. Там – не слова».

Учительница поняла это как уход.

– Ладно, – сказала она сухо. – Перейдем к анализу композиции.

Композиция легла на класс как сетка на рыбу. Всем стало спокойнее: есть что разбирать, есть что складывать назад. А у окна текла своя «композиция»: по стеклу прокатился шепот ветра – тонкий, как нить, в которую закатали свет.

В середине урока учительница включила «обратную связь»: на партах вспыхнули три круга – зелёный, жёлтый, красный. «Понятно? Сомневаюсь. Не понимаю». Дети, почти не глядя, ткнули зелёные – как в лифте нажимаешь «вверх», даже если едешь вниз.

Только на столе Нуа круги не загорелись. К табло «активности» это прибавило минус один. Учительница заметила. В ее взгляде мелькнуло раздражение и – боль: «Ты делаешь

мне хуже, не играя по правилам».

Нуа опустила глаза к странице. Между словом и словом была полоска белого. Она положила туда палец – слегка, едва касаясь. Как будто проверяла температуру воды перед купанием. «Здесь живёт смысл, – подумала. – Тот, который не измеришь». И от этой простой мысли ей стало спокойнее.

Внезапно в коридоре кто-то сильно хлопнул дверью. Самой двери система не позволила бы хлопнуть – значит, это была «чужая» дверь, старая, из тех, что остались в дальнем крыле. Хлопок ударил в стены, класс вздрогнул. Ребята расхохотались, перевели в шутку: «Ого, призрак дисциплины пришёл!» Учительница натянула улыбку, но по её шее прошёл быстрый, как молния, спазм: выдать «всё под контролем».

– Ещё пять минут, – сказала она. – Подводим итоги.

Итоги были как всегда: несколько «правильных» ответов, пара замечаний, напоминание про домашнее задание, в которое аккуратно вплеталась «рефлексия»: «Что вы почувствовали, когда читали?» Ответы – такие же правильные: «Интерес», «любопытство», «желание прочитать дальше». Система будет довольна: у класса «позитивная динамика».

У Нуа, пока все писали «рефлексию», руки сами по себе нарисовали на полях невидимую партитуру: короткая вертикальная линия – вдох, длинная – выдох; точка – скрип стула; две точки – писк пластика; волна – хмурый гул вентиляции; пустое место – взгляд в окно. Получилась музыка, которую

никто не услышит, кроме неё. И это – было в порядке вещей.

Звонок, как всегда, сработал не один: каждый слышал свой. Часть детей подпрыгнула от бодрого «динь», часть – от заранее выбранного «мягкого ветра», одному мальчику в ухе прошептали: «Ты молодец». Класс распался на шумные ручьи.

Нуа последний раз провела пальцем по белому полю страницы, как по шерсти животного: «Спасибо» – не словам, а тому, что между ними. Потом встала и не торопясь вышла в коридор.

Коридор жил на собственной частоте. Плитка пола отзывалась низко и глухо, как барабан, по которому бьют мягкими палочками из поролона. Вдоль стен стояли автоматы с водой; каждый стакан сопровождался поздравлением: «Вы сделали выбор в пользу здоровья!» – и короткой вспышкой конфетти на экране. Конфетти падало беззвучно, но казалось, будто шуршит – настолько убедительно система имитировала «радость».

Нуа посторонилась, пропуская поток к столовой. «Стая» – так она про себя называла группу из шести ребят, у которых всё всегда было «как надо» – заметила ее сразу. Они чувствовали её, как птицы чувствуют воздушную яму.

– Ну что, тишина, – сказал один, высокий, с идеально ровной чёлкой. – Проглотила буквы?

– Буквы ей не лезут, – хихикнула девочка с браслетами

на обеих руках. Браслеты мерцали, как брачные украшения тех цивилизаций, где у юности культ. – Может, она хранит их для кого-то особенного.

Смех. Лёгкий, с «служебным» привкусом: смеёмся, потому что так в этот момент «правильно».

– А что ты услышала там, между словами? – подмигнул другой, тот, кто минутой раньше отправлял самолётик. – Говорят, тишина шепчет правду. Какая правда у тебя?

В его интонации промелькнула искорка – не злости, а любопытства. Нуа это поймала. Она медленно повернула голову, посмотрела ему прямо в глаза и... улыбнулась – не губами, а взглядом: коротко, как вспышка. Он моргнул, растерялся на долю секунды, и стоя тут же прикрыла его:

– Всё, отстань от странной. Пойдём, у нас челлендж.

Они ушли, оставив после себя шлейф парфюма и короткие, как бирки, реплики, которые система записала как «микроконтакты». На шкале «социальной вовлеченности» это отразится плюсиком – не у Нуа. У неё приборов не было.

Она подошла к окну. На подоконнике лежала забытая кем-то тетрадь в бумажной обложке. На краю – запекшаяся капля чернил, насквозь пропитавшая картон. В этой капле было всё – медленность, тяжесть, текучесть. Нуа провела рядом пальцем – не касаясь. «Чернила звучат, когда падают», – подумала она, и это было смешно и точно одновременно.

В соседнем классе кто-то запел. Потихоньку, тихим ров-

ным голосом – похоже, учитель музыки распевал детей. Нота протянулась тонкой серебряной нитью и, как любой честный звук, тут же утонула в гуле. Но она была – и этого хватило, чтобы у Нуа внутри что-то расправилось.

Она не заметила, как рядом остановился сторож – тот самый мужчина с широкими ладонями.

– Нравится смотреть? – спросил он негромко, глядя не на неё, а тоже в окно.

В его голосе было дерево: не скрип, а тёплое, сухое «мм».

Нуа кивнула.

– Там ветер настоящий, – добавил он. – Тут – сквозняк по расписанию, а там – как пойдёт.

Она снова кивнула. Хотелось сказать «спасибо», но говорить значило разрушить это хрупкое «как пойдёт». Он понял без слов.

– Иди, – сказал он. – Сейчас столовая захлебнётся, лучше переждать.

Она пошла в противоположную сторону – в пустой коридор, ведущий к старому крылу. Там свет становился тише, а воздух – плотнее. В дальнем конце висела дверь – та самая,

хлопнувшая на уроке. На ней не было панели. Дерево. Краска шелушилась, обнажая прежний цвет – тёмно-синий, как вечерняя река.

Нуа приложила к двери ладонь – на секунду, как прикладывают ухо к раковине. Дерево ответило ей тёплым шелестом волокон. Она улыбнулась сама себе и побежала обратно – вовремя: от столовой уже катился сладкий и солёный пар, схвативший коридор за горло.

В туалет она зашла не «по делу», а чтобы поставить ладони под струю воды. В школьных санузлах воду включали сенсоры: тонкая, прозрачная, чуть холоднее тела. Насадки шипели, как малыши-китайки, и тут же отключались, если рука отступала. Её интересовал не комфорт – звук.

Вода звучала по-разному с каждой раковиной. В первой – радостно и вспугнуто, как воробей. Во второй – глубже, как ручей под корнями. В третьей – ровно, без характера, как идеальная «подложка» из приложения для медитации. Она выбрала вторую. Подставила ладони, задержала под струей, потом медленно провела ими по шершавому фарфору: «тшш».

Дверь скрипнула. Вошла одноклассница – та, что на перемене не смеялась, а смотрела. Девочка осторожно встала к соседней раковине, включила воду и вдруг, глядя в зеркало, сказала:

– Я... тоже иногда хочу молчать.

У неё дрогнули уголки губ, как у человека, который пробует новый язык.

Нуа посмотрела на неё через отражение. Девочка торопливо добавила:

– Но у меня не выходит. Сразу... – она махнула браслетом, и браслет ответил послушными огнями. – Сразу хочется «быть как все».

Нуа улыбнулась – очень маленькой улыбкой, которую может увидеть только тот, кто смотрит не на губы. Девочка кивнула, будто получила письмо. Потом быстро выключила воду и убежала – не потому, что испугалась Нуа, а потому, что испугалась себя новую.

В кабинке кто-то шмыгал – плакал тихо, как умывается кошка. Нуа услышала и вышла, чтобы не вторгаться. В школе слишком тесно для чужого настоящего – оно проступает через перегородки, как сырость. Иногда лучшая эмпатия – уйти до того, как тебя заметят.

Учительница написала родителям сразу три сообщения: короткое официальное («ваша дочь отказалась читать»), длинное тревожное («я переживаю о социализации»), и в конце – почти личное («может, стоит обсудить варианты поддержки»). Система присвоила письмам «высокий приоритет» и мягко «забеспокоила» телефон отца.

– Опять, – сказал он, опускаясь на стул в кухне. Стул вздохнул.

Мать уже была «на связи» с форумом «Родители особенных детей» и в чате «SoftSkills для подростков»:

– Там советуют разговоры по скрипту, – говорила она быстро, как слушают – перескакивая. – И ещё... тут есть программа «Молчание как навык общения». Смотри: «восемь шагов к тому, чтобы ребенок научился говорить».

– Молчание как навык? – переспросил отец и усмехнулся безрадостно. – Забавно.

Он любил дочь – странно, по-мужски: чинить. Он бы починил ей мир, если бы нашел нужный ключ. Но ключей было слишком много, а замки всё время менялись.

– Мы любим её, – сказал он, будто проверяя это слово на прочность.

– Любим, – подтвердила мать. – И поэтому... – «поэтому» развалилось на множество «надо». Надо терапевта. Надо специалиста по речи. Надо «группу». Надо «как у людей».

Нуа вернулась в свою башню и вытащила из-под кровати тетрадь без линеек. На первой странице – только её «партитуры»: вертикальные штрихи вдохов, горизонтالي тишины, пунктиры смеха, дуги «жжж» от вентиляции. Она ста-

ла записывать урок: «метроном Ивана» – ровные стройные палочки; «красные точки у Лены» – пчелиные точки на полях; «хлопок чужой двери» – толстой поперечной чертой через страницу; «пауза после моего молчания» – пустой прямоугольник с мягкими краями.

Выходило красиво – и страшно. Красиво – потому что видно, как дышит пространство. Страшно – потому что виден ритм, которого никто не слышит. Она провела ладонью по карандашным линиям – графит чуть пачкался, оставляя серое облачко на подушечках пальцев.

С улицы донесся крик – не электронный, не «специальный». Настоящий. Кто-то на тротуаре поскользнулся, выругался, тут же засмеялся сам над собой. Этот крик был, как острый перец в сладкой еде – живой, жгучий. Нуа улыбнулась, закрыла тетрадь.

Вечером родители позвали её «поговорить по плану». План был мягкий, как короткий плед. Его вытаскивали, когда «холодно».

– Нуа, – начала мать, глядя в глаза, но через помощь подсказчика на внутреннем экране. – Нам важно, чтобы ты училась говорить.

Отец продолжил:

– Мы слышим тебя, – и синяя подсказка у него в линзе

зелёно мигнула: «Хорошо! Утверждение эмпатии».

Нуа кивнула.

– Я здесь, – сказала она вдруг.

Родители вздрогнули. Она говорила редко, но её голос каждый раз приходил как благодать: тихий, низкий для её возраста, ровный.

– Я здесь, – повторила она. – Когда я молчу.

Им стало больно. Не от того, что они не поняли. От того, что поняли. Мать потянулась к её руке, задержала пальцы на секунду дольше, чем принято. Отец кивнул и отвернулся – быстро, чтобы не выдать влажного блеска в глазах. Системе это показалось «успешным контактом»: она поставила галочку «тёплая коммуникация».

Ночью Нуа лежала и слушала, как дом меняет кожу. Днём он был громадой из стекла и идеологий, ночью становился мягким зверем, который, наконец, не обязан никому улыбаться. Холодок от окна пахал по полу тонкой струйкой; где-то внизу железо остывало с мягкими щелчками; в соседях кто-то перевернулся на другой бок – матрас пропел короткую ноту «уу».

Она представила свой класс, только без людей. Пустые парты – как аквариумы без воды; на доске – ничего; на крюч-

ках – висят пиджаки, симметрия, порядок. И в этом пустом классе – она, одна. Взяла бы учебник? Возможно. Прочитала бы вслух? Да. Потому что слушать некому – и можно не предавать паузу. Мысль удивила её собственной честностью и... отпустила. В темноте было спокойно.

Сон пришел не картинкой, а запахом: сухая бумага, чуть подгорелый край, пыль солнца в воздухе. Она вошла в класс, где все вещи знали свои имена, но никто не произносил их вслух. Окно было распахнуто (в их школе окна не открывались – и потому сон сразу выдал себя как сон): ветер вошел, как человек, который давно свой; касался штор, гладил страницы, играл на металлической кромке парты, извлекая «дзинь».

Учительница стояла у доски, но её лицо было без черт – не потому, что ей нечего сказать, а потому, что не нужно. Дети сидели тихо. Тишина не давила – держала. Как вода, в которой ты не тонешь, а лежишь, распластавшись.

– Прочитай, – сказала учительница – беззвучно, одними губами, которые в этом сне были как волны: «прочитай».

Ну а открыла книгу. Буквы не стали словами. Они стали узорами – черные травы, линии птиц, маленькие лестницы, ведущие на белые крыши полей. Она провела пальцем по строчке – рисунок завибрировал, как струна, и из вибрации вышла музыка – не мелодия, а свет. Свет заполнил класс. Дети улыбнулись – глазами, не ртами. Учительница кивнула. Окно подпевало тонкими стёклами. И в этой ясной звучащей

тишине было всё, ради чего люди когда-то придумали речь: встреча.

Она проснулась без рывка – как всплывают с задержкой дыхания: медленно, с удовольствием. Сквозь шторы свет уже начинал варить утро. Первое, что она сделала – села и открыла тетрадь. На чистой странице провела длинную, устойчивую линию: «сон». Потом добавила над ней пунктиры – «окно», «шторы», «страницы». Потом – пустой квадрат: «там, где никто не требует».

Она улыбнулась. Сегодня снова будет школа. Опять шум, опять «давай, читай», опять «зависла». Но где-то под всем этим – есть класс из её сна. И, значит, он возможен – хотя бы на доли секунды, когда чья-то дверь в коридоре захлопнется не по плану, и все на мгновение перестанут «играть». На этих долях секунды держится новый мир – тот, где её язык не «отказ», а «ключ».

Глава 4. Шёпоты за спиной

Подъезд днём пах мокрой щёткой и терпкой лимонной пеной, а вечерами – супами, чужой корицей и редким смехом, который быстро съедал бетон. Здесь всё было слышно лучше, чем дома: лифт говорил вежливее, чем люди, датчики на потолке кивали зелёным, как воспитанные соседи, а сами соседи предпочитали говорить полголоса – чтобы вроде бы и не сплетни, а всё же услышали, кому положено.

– Видела? Опять прошла, – сказала женщина с пятого, встряхивая ведро так, будто оттуда можно вылить чужую

тайну.

– Кто? – рассеянно откликнулась соседка сверху, перекладывая из пакета помидоры в керамическую миску, стараясь не смотреть в сторону двери Нуа.

– Да девочка ихняя. Ни здрасте, ни до свиданья. Глазищи – как у совы.

– Может, стесняется, – пожала плечом та, у кого всегда всё было «может». – Сейчас такие пошли.

– Стесняется, – хмыкнула первая. – А как на тебя глянет – мороз. Будто считывает. Будто ты – прозрачная.

Труба в шахте лифта коротко стукнула, внизу щелкнул затвор двери. Лифт поднялся, дунул прохладой. Из кабины вышла Нуа – легкая, с рюкзаком, который сидел на плечах так, словно был не ношей, а просто двумя тёплыми ладонями. Девочка кивнула обеим женщинам – крошечный, вежливый кивок, в котором не было ни покорности, ни вызова. И пошла вверх, не торопясь. Шаг ее был прозрачный и упрямый, как струйка воды в ливень: всё равно найдёт себе путь.

– Видала? – прошипела ведроносная, когда дверь наверху мягко всосала девочку. – Ни звука. Вот уж точно: тишина.

– А вы чего хотите? Чтобы пела? – вздохнула вторая, но

глаза у неё тоже остались тревожными. Глаза всегда выдают честнее слов.

На лавочке у подъезда, в вечерней тени, сидели двое стариков, один плел из резинок для банок тугой шарик, другой глядел прямо, как умеют смотреть только те, кто жил до экранов. Они говорили не шёпотом – их слова были тяжёлыми, трезвыми, будто их заранее примеряли на язык.

– Раньше у нас мальчишка на втором на гармошке играл, – сказал первый, – вот это шум. Хороший. Слышно было на весь двор, и никто не умирал.

– А сейчас, – ответил второй, не повернув головы, – играют глаза. Мигают. И тоже на весь двор.

– Девчонка-то... – первый кивнул вверх, туда, где окна семьи Нуа темнели ровно, без рекламной ряби. – Тихая.

– Тихая – это не плохая, – сказал второй. – Плохое – когда пусто. А у неё не пусто. Глаза-то – полные.

Слова тянулись через асфальт, как теплые нитки. Но этих ниток мало кто замечал: в подъезд ввалилась молодая мама с коляской, браслет на запястье радостно пропиликал «шаги засчитаны!», коляска ответила «режим сна включён», и всё вокруг пустило дымок «нормальности». Нормальность любила говорить громко.

На лестничной площадке между третьим и четвёртым эта-

жом висело тусклое окно. Оно знало лучше всех, что в доме говорят одно и то же, меняя интонации. Днём – быстрее, по-деловому: «когда комментарий ответили», «куда записали», «сколько стоит». Вечером – мягче: «как он посмотрел», «как она вздохнула», «как мы устали». И всегда где-то сбоку – про ту самую девочку. Сначала осторожно: «как она?» Потом увереннее: «почему она?» Потом – уже с удовольствием: «а вдруг».

– А вдруг она глухая, – шептала худенькая соседка с шестого, выгуливая вдоль перил свой рингтон.

– Нет, слышит прекрасно, – уверенно отвечала другая, та, что знала всё про всех. – Просто не отвечает. Это, говорят, психика так.

– А мне сон приснился, – вмешалась третья, неожиданно краснея от собственной смелости. – Будто она силу какую-то держит. Тихую. Как в шторм, когда внутри всё остановится – и легче дышать.

– Господи, – отмахнулась «знающая». – Какие силы? Это вам сериалы мешают.

И всё же после каждого такого «отмахнулась» в воздухе оставалась дурацкая, липкая пауза, как после неловкой шутки. Пауза просачивалась в квартиры, садилась на полки, жила в бельевых корзинах. От неё хотелось включить музыку

погромче. Люди включали. Музыка салфеткой прикрывала щель, но щель никуда не девалась.

Однажды из соседской двери на третьем вышла девочка постарше Нуа – длинные волосы, ногти, переливающиеся, как рыба под лампой. Она остановилась, будто случайно, когда Нуа поднималась мимо.

– Привет, – сказала, сделав голос «как у блогера».

– Привет, – ответила Нуа. Голос её был невысокий и будто бы матовый, как шелк наизнанку.

– Тебе... – соседская девочка запнулась, впервые выпадая из образа. – Тебе не страшно? Когда все... ну, говорят?

Нуа подумала. Взгляд её опустился на ступени, где в цементе был застывший лист клена – тонкий скелет прожилок.

– Страшно, – сказала она честно. – Только тише становится.

– Тише?

– Внутри.

Соседка постояла ещё секунду – и вдруг сбежала вниз,

громко, слишком громко, как бегут от собственного «пони-
маю».

Внизу вновь вострепнулся лифт. К кабине подскочила женщина в спортивной куртке, наушники в ушах, губы движутся – то ли подпевает, то ли убеждает себя. Рядом притормозил муж с коробкой.

– Ты слышала? – спросил он так, будто спрашивает о погоде.

– Что?

– Говорят, та девочка... ну... – он покрутил пальцем у виска, осторожно, как спичкой возле бензина. – На мальчика глянула – и тот замолчал.

– А что, так нельзя? – с вызовом отрезала жена, нажимая кнопку. – Я вот на тебя гляну – и ты тоже замолкаешь. Экономия слов.

Они засмеялись, лифт открылся, проглотил их. Смех остался в шахте, съехал вниз, разбился о подвал.

Летом, когда в подъезде пахло пылью и горячим железом, общедомовой чат гудел еще громче, чем стены. «Прошу обратить внимание, ребёнок с седьмого не здоровается», – писала одна. «Родителям бы заняться, а то вырастет...» –

подхватывал другой. Несколько вежливых смайликов, одна осторожная реплика – «а может, не наше дело», – и снова хрустящий валяк чужой правоты. К чату прислушивались даже те, кто ненавидел чаты: от них никуда не деться, они в воздухе как соль.

Иногда, поздно вечером, когда двор утихал, и даже кондиционеры на фасадах переходили на шелест, Нуа выходила на площадку «подышать лестницей». Лестница дышала старым цементом, чужими подошвами, забытым мелом – на одном пролёте ещё сохранилось бледное «мир», выведенное когда-то детской рукой. Она вставала у окна, смотрела в прямоугольник ночи. И слышала, как снизу, с лавочки, старик с широкими ладонями говорит в темноту:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.